2012 год

Всероссийская олимпиада школьников по литературе
муниципальный этап
8 класс

Задание. Прочитайте рассказ Константина Георгиевича Паустовского «Стекольный мастер» и напишите отзыв на это произведение.

Бабка Ганя жила на околице, в маленькой избе. Ганя была одинокая. Единственный ее внук Вася работал в Гусь-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок граненые синие стаканы, а для украшения – маленькие, выдутые из стекла самовары, туфельки и цветы. Выдувал их он сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце. Бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости. Она позволяла им смотреть на эти волшебные вещи, но в руки ничего не давала.

– Вещь эта хрупкая, как ледок, – говорила она. – Не ровен час – сломаете. Руки у вас корявые. Картуз держать не умеете, а тоже пристаете: «Дай подержать да дай потрогать». Их держать надо слабо-слабо, как воробышка. А нешто вы так можете? А раз не можете – так глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавом носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались легким блеском. Когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они звенели долго и тонко, будто разговаривали между собой о чем-то своем – стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил рыжий пес, по имени Жек. Это был старый, беззубый пес. Весь день он лежал под печкой и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком – посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных разностях, пожаловаться на старость.

– Я совсем слаба стала, ничего почитай и не ем, – говорила она. - Воробей и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать бумагу в сельский Совет. Она диктовала ее сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, трудно.

– Пиши, сердешный, – сказала она. – Пиши в точности, как я скажу: «Я, Агафья Семеновна Ветрова, жительница села Окоемова, сообщаю сельскому Совету, что в случае моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а этого для человека мало. Он обязан знать еще и какое ни на есть мастерство.

Внук мой – такой мастер, что только землю и небо не сделает, а всё прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой – не женатый, не пьющий. Боязно мне, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу нашу власть не оставить его заботой, чтобы дар, даденный ему с малолетства, не пропал, а большал и большал, а потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжелого стекла некоторую вещь, – называется она по-городскому рояль, а у нас в селе ее сроду не видывали и не слыхали. Это самое мечтание он изложил мне, и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. А собаку Жека пусть заберет аптекарь, Иван Егорыч, он к зверям ласковый.

Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола и вздыхал – чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула в ситцевый платок, поклонилась низко, по-стариковски, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем – художником – уехал на лодке на Прорву – глубокую тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над головой и хрустели – на них лежал тяжелый иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось прикасаться – топор, котелок, ветки, – было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии зарослей подымалось солнце, и мы не узнавали Прорвы – все было присыпано морозной пылью.

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной. Белые, будто засахаренные ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез теряли серебряный налет и шелестели под ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вышел дед Пахом. Он собирал с мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю, – все-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

– Здорово! – сказал дед. – Никак я в толк не возьму, чего вы тут делаете, милые. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай. За чаем дед завел трудный разговор о витаминах.

– Одышка у меня, – сказал дед. – Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, выдумываешь невесть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

– Чего? – спросил я.

– Ну, тмины там какие-то советует потреблять. Настой из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей-богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу – она у нас сплоховала.

– А что?

– Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую поневу надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу, помирать еще ни к чему. Вы от меня, голубчики, еще наслушаетесь разного разговора. Жалеть не будете!

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидал на своем веку много болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

– Раз родились, – говорил он, – все одно помрем.

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто: все ушли на огороды копать картошку.

На крыльце Ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лег на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу – ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду. Я впервые увидел белый рязанский шушун, новенький черный платок с белыми цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую поневу.

Дед наступил на шаткую половицу, и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

– Вечный спокой, – сказал дед и стащил с головы рваный картуз. – Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха, строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая картузом лицо:

– Ты чего же недоглядел хозяйку, дьявол косматый!

Жек опустил голову и робко помахивал хвостом. Он не понимал, за что на него сердятся.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на ее могилу и рассыпали по ней накрошенный хлеб – для воробьев и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай – кормить птиц на могилах, чтобы на стареньком кладбище было весело от птичьего щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика, болезненный, – «квелый», как говорили по деревне, – но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало, больше слушал и улыбался.

Я долго не решался расспросить его о стеклянном рояле. Заветная его мечта казалась неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали березовые дрова, я наконец спросил его об этом рояле.

– У каждого мастера, – ответил Вася и застенчиво улыбнулся, – лежит на душе мечтанье сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер!

Вася помолчал.

– Разное есть стекло, – сказал он. – Есть грубое, бутылочное и оконное. А есть тонкое, свинцовое стекло. По-нашему оно называется флинтгласе, а по-вашему – хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Он играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно – очень он был ломкий, требовал осторожного обращения, а теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

– Прозрачный? – спросил я.

– Об этом-то и разговор, – ответил Вася. – Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нем сложное. Но, несмотря на то что рояль прозрачный, это устройство только чуть будет видно.

– Почему?

– А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатления, ежели видит, как она происходит. Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотизной. Только вторые клавиши сделаю из черного хрусталя, а так весь рояль будет как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня нет воображения рассказать вам, какой это должен быть звон.

С тех пор до самого Васиного отъезда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Дни стояли пасмурные, мягкие. В сумерки мы выходили в сад. На снег падали последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой, – сверкающий, поющий так чисто, как поет вода, позванивая по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот рояль. Он отражал пламя свечей, старинные портреты композиторов, тяжелые золотые рамы, снег за окнами, серого кота, – он любил сидеть на крышке рояля, – и, наконец, черное платье молодой певицы и ее опущенную руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

Когда поля в час утренний молчали,

Свирели звук, унылый и простой,

Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то чудесное стеснение в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Все гуще падал снег, засыпал могилу бабки Гани. И все сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась мне теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

1939 год